



# СУММА

## ЛЕГИТИМНОСТИ

---

## Идеология как машина

Сегодня уже очевидно, что нет общества без идеологии, и она не определяется только как «взгляды доминирующего класса». Это очень сложное и многослойное явление, вызывающее к философскому осмыслению, а не только к эмпирическому описанию отдельных случаев. Как говорится, либо общество имеет идеологию и есть живой идеологический процесс и открытый рынок идей — либо идеология имеет общество как пассивную, манипулируемую массу, незаметно, а потом и открыто приватизируя машину производства и трансляции идеологического.

Идеология — не только система идей, но и система институтов, и не менее важно наличие инстанции, из которой могло бы исходить идеологическое. Когда начинали «сочинять» национальную идею, то отсутствие такой инстанции с самого начала было очевидным. Была задача отчасти реабилитировать идеологическое, снять не только избыточные ожидания политиков, но и интеллигентскую иллюзию возможности бескрайней деидеологизации, не поддающейся рефлексии. Постепенно к идеологии стали относиться как к проблеме, а не как к пугалу.

Одним из труднейших вопросов в идеологическом и практическом плане является вопрос легитимизации власти. В России были испробованы разные акценты легитимации, последовательно дискредитировавшие себя и перестававшие работать. Сейчас появились слабые, но отчаянные симптомы попытки легитимации через сакральное. В итоге в обоснованиях власти не осталось ни традиции, ни идеологии или харизмы, ни «полицейского государства всеобщего блага»... Но и последнее прибежище в сакральной легитимации в окладе РПЦ также не обретается. И если раньше обществу предлагался рационально оформленный курс на модернизацию — классический мегапроект, то теперь любые стратегические идеи, независимо от их смысла и качества, как правило, всерьез не воспринимаются: девальвирован сам жанр.

Модернизационный порыв поддерживал условную лояльность продвинутой части общества, имевшей основания рассчитывать на изменения к лучшему. Рокировка в тандеме оттолкнула уважающих себя людей откровенностью, но в тот момент кончилась и риторика модернизации, а из дискурса власти стратегическое вовсе выпало даже как стилистика. Стиль политических заявлений стал эклектичен, наполнен намеками, правильными, но ни к чему не обязывающими сентенциями, содержащими зияющую дыру там, где ранее привычно располагались фразы о модернизации. Пробоина оказалась незаделываемой. Авторы стратегий не могли решить задачу «снятия с иглы» — преодоления зависимости от экспорта сырья.

В итоге мы получили власть без проекта и даже без видимости адекватного владения ситуацией. Все более заметно, как приемная управляет кабинетом, контролируя поступающую туда информацию, особенно свидетельствующую об ошибках. Все более из тайных коридоров власти проступает знакомый по Макиавелли образ коварного государя, но только на этот раз не способного хотя бы достоверно имитировать исключительное знание о происходящем, понимание интересов государства-*стато* и правильных путей движения в истории. Проектное сознание — основа цивилизации и в политической философии — культивируется с XV века, от Большого Модерна. Макиавелли был не просто циничным певцом интриги и силы, но обосновывал это право государя *знанием* обо всех делах и о подлинных интересах государства: *ragion di Stato, raison d'État, Sttatsträson* и пр. В модели «нация — государство» интерес *стато*, по определению, есть интерес всех.

В начале нового века Россия опять обречена на мегапроект — либо на сползание в третий мир с плохо предсказуемыми последствиями. Это плохо, но таково наше положение плюс нарастающий дефицит времени. Покушаться на очередной исторический подвиг приходится в ситуации постмодерна, давно отнесшего

мегапроекты к разряду опасных анахронизмов. И тем не менее... мы все еще очень советские!

За последнее время все изменилось, но никуда не сдвинулось. Общество шагнуло вперед — и попятилось. Закручиванию гаек мешают срывы резьбы; протест ходит кругами — ищет новые форматы. В энергичных пробуксовках и топтании на месте вконец стирается тонкий слой несущей поверхности, пока еще удерживающий ситуацию в относительном и весьма неустойчивом равновесии. Уже ясно, что выход из нее сложнее, чем казалось, и точно не в горизонте обыденного понимания.

В моменты нестабильности, на сквозном транзите, особенно важен адекватный язык описания. Тем более в стране, в политической фактуре которой всё сплошь имитации и обманки, а слова и вещи друг с другом как не родные. Однако перерождение затронуло такие глубины социального порядка, что вызывает к темам, которые пока вообще вне языка, к предметам сразу не видимым и почти не обсуждаемым, а значит «непромысливаемым». В политическом своя архитектура: помимо конструкции власти есть природа полей и сил, которые эту конструкцию держат. Это как разница между основами конструирования и теорией гравитации. Или первотолчка.

### Ничто не вечно. И власть тоже

Главный вопрос уже сейчас вовсе из другого измерения и вызывающе резок: а собственно, по какому праву здесь вообще правят? Не именно эти, но и все, кто был до них и придет после. Только кажется, будто здесь всё известно и понятно, что менять. Если «государство» так регулярно и легко делают средством перехвата личной власти, общих ресурсов, чужих судеб и жизней, значит, мало этот инструмент по-разному затачивать и передавать из рук в руки, даже если эти руки с каждым разом все чище, головы горячее, а сердца как лед.

Более того, здесь мало и затертых сентенций про то, что надо менять «не фигурантов, а систему». Речь уже не о качестве легальности, но о самой природе легитимного. Это уже проблема не организационная, а сущностная. Обнаружив, что вождь не вечен и что у него тоже есть спина, не защищенная от травм и друзей, народ озадачился будущим: как из этого загона не просто выйти, но так, чтобы более не возвращаться туда же, откуда только что с дикими мучениями выбрались. Люди открыли сундук власти, увидели в нем

привычные политические вещи и собрались их перетряхнуть: что-то выбросить или заменить. Но стоит лишь задуматься о том, почему все прошлые ревизии и освежающие процедуры до сих пор не дали надежных, устойчивых результатов, как тут же открывается еще один слой, а там второе дно, под ним еще одно, такое же ложное... Когда же рядом шкаф с книгами по философии политики и государства, этот сундук и вовсе превращается в бездонный колодец, только сверху прикрытый *realpolitik*, но в глубине скрывающий микрофизику власти и ее метафизику. Там сплошь нерешенные и даже не поставленные вопросы — а значит, и место не найденных и потерянных ответов, необходимых для выхода из тупика, но у поверхности не встречающихся.

За последнее время Россия успела в разных долях и акцентах испытать почти все известные обоснования отношений господства и подчинения — трансцендентальные и сакральные, идеологические и социально-психологические, рационально-прагматические, операционально-технологические и даже банально силовые. Мы будто в съемке рапидом упаковали в эту четверть века едва ли не всю мировую историю оправдания политики и почти полный комплект теорий власти с соответствующими им моделями отношений и конструкциями правления. Гегелевское «совпадение исторического и логического» в нашей хронике чуть хромает, но это лишь подтверждает правило, снимая иллюзию, будто все это время тип властвования у нас был хотя бы примерно один.

Падение рейтингов и накал протеста рассеяли иллюзию относительно «полицейского государства общего блага». Тотальной замены политики полицией не произошло, а с «общим благом» все еще хуже, хотя мотив «лояльность за порядок и хлеб» все еще сохраняет инерцию.

Признание за властью «права» на цинизм, коварство, обман и насилие через мифологию сегодня уже невозможно, равно как и оправдание через Особое Знание про государственный интерес (то самое макиавеллиевское *ragion di Stato*). Перед сдачей президентского кресла на временное хранение случился взрыв активности в сфере стратегического планирования. Сейчас и эта модель не работает: эпическое полотно «Он знает все» и вовсе рассыпалось — больше этого формата не будет. В высшую политику Путина толкнули через личную популярность, нагнетавшуюся прежде всего фоном, который создал Ельцин: от противного (Путин как не-Ельцин). Сам кандидат на тот момент был типичный «*who is?*», но уже была

атмосфера ожидания чего-то дееспособного. И хотя все держалось на антихаризме позднего Ельцина, в начале славных дел сыграла именно харизматическая доминация. Две остальные схемы Макса Вебера не работали: рациональная вера в законность порядка была слишком условной, а опоры на традицию не было вовсе. Теперь и остатки харизмы тают на глазах.

Миф о «лихих 90-х» питает еще одну идеологему: якобы Путин обуздал Гоббса в России, прекратив «войну всех против всех» в стране, ухитрившейся в новейшей истории власть в «естественное» (догосударственное) состояние. Но Путин победил не войну, а своих врагов в ней. И сейчас нагнетает новый всплеск политического милитаризма: война (еще холодная, но уже гражданская) развязана именно властью, легитимация которой как миротворца все более абсурдна.

Решающее событие страна пережила в самом начале 1990-х: она прошла точку небытия и момент учреждения новой государственности. Это могло бы стать основой новой легитимности, если бы с конституцией не обращались, как сейчас. Кроме того, известно, что такие учредительные акты не проходят без идеологии как светской религии — если не питать иллюзий по поводу деидеологизации и понимать, что антикоммунизм и критика засилья идеологии сами идеологичны. Но и эта «опора» рассыпалась, а новую национальную идею Старая площадь так и не изобрела. Не осталось теорий, которые можно было бы подвести под эту шатающуюся, падающую конструкцию. Но и саму власть уже нельзя рассматривать в привычной логике. Она диффузна, проникает во все поры отношений и повседневности. В играх легитимизации общество активно и порой само же подталкивает начальство к тому или иному способу действия.

Похоже, богоданное самодержавие у нас до сих пор вспоминают с вождением. Помазанник и династия (хотя бы и не родовая, а через «политическую фамилию») в России в натуральном виде уже нереальны, но братание с Патриархом создает узнаваемый фон. Плюс праздничные стояния, дележ добычей от аннексий и контрибуций в стране-вотчине, обмен дарами, символическими и не очень. Земли, памятники архитектуры и произведения искусства — в обмен на безоговорочную поддержку.

Показателен эпизод в храме Христа Спасителя. Если бы не столь адресная, персонифицированная просьба к Богородице, такого скандала не было бы даже близко. В итоге — интереснейшее сращивание светского закона, церковных норм и политики во всем ее неподражаемом цинизме. В светском процес-

се на равных участвуют ссылки на 62-е и 75-е правила Трулльского собора, а за кадром стоит Некто Невидимый, но земного происхождения. «Попраие святыни» — ровно про него. Более того, это было кощунство не просто сакральное или политическое, а задевшее именно «симфонию» власти и церкви.

Все это слабый отблеск того, что происходило в Средние века, когда священная власть пыталась опираться на светское право, которому тоже приписывалось сакральное происхождение, но уже через суверена. Тогда это было связано с борьбой за инвеституру (право назначений) — здесь также утверждается власть над вертикалью. Поскольку и сейчас подлинное происхождение главных законодательных инициатив ясно, то наш президент тоже является, по сути, *lex animata* — «воплощением юстиции». Это почти пародийный вариант модели «двойного тела короля», которую детально исследовал Эрнст Канторович. Согласно абсолютистской версии, у короля есть обычное тело, брненное и подверженное всем человеческим слабостям и недугам, и тело мистическое, вечное, как земное инобытие Христа. Средневековые юристы прямо называли эти два тела «естественным» и «политическим» — «подставка под корону» (Фуко). В нашем случае видна неосмысленная попытка воспроизвести этот образ вечной сущности навязчивой демонстрацией тела Путина — неуязвимого, защищенного от любых недугов, свободно перемещающегося в любых средах. Оттон II (классика художественной сакрализации единовластия) тоже парил между небом и землей, но не в телевизоре, а в живописи. Образ «пожизненной вечности» (на прямое бессмертие пока у нас не покушались) вербально выражен в излюбленном девизе Путина: «Не дождетесь!», имеющем как биологический, так и политический смысл. Если бы это понимали сразу, иллюзий было бы меньше, а рокировку предсказали бы задолго до.

К мифу физической, биологической и политической неуязвимости добавляется мотив безгрешия. Когда церковь заявляет о своей полной (и якобы традиционной) лояльности власти, она тем самым освящает все, что эта власть делает. Власть грешит безоглядно, но неизменно получает индульгенцию. Однако суммарный эффект здесь скорее обратный: из иконы «отца нации» получается недружеский шарж, карикатура в духе картунизма — последнего штриха постмодерна. А сам иерархат своим неумеренным подобоострастием и небескорыстием (конечно же, в интересах церкви!) все более опускается в глазах даже воцерковленных и клира.

То же и в навязывании обществу проекта воцерковления школы. Превращение религиозного образования из факультативного в обязательное способствует формированию поколений, обученных верить и не выступать. Здесь ищут сознания не праведного, а воспитанного в послушании — внушаемого и некритичного. Забывают при этом, что люди именно с таким особо внушаемым сознанием сначала «слушают и повинуются», а потом так же неожиданно восстают, слепо свергают и рвут на части. С темным населением протянуть можно дольше, но конец будет ужасней.

### Между легальностью и легитимностью

В стране произошла смена плана легитимации, а это принципиально. Между легальностью (соответствие закону) и легитимностью (признание прав на власть) нет прямой корреляции. В отличие от понимания легитимности как признания данной власти *наилучшей*, у нас, как правило, работает согласие на вариант *хотя бы не наихудший*. Пассивный консенсус мешает поставить режим под снос, двадцать лет и два года обеспечивая нужный минимум стабильности.

В замкнутом контуре с положительной обратной связью реакция на события усиливает факторы, ее вызывающие, — система идет вразнос. Первое падение рейтингов вызвало шок и острое желание тут же все вернуть, добавив оборотов машине пиара. Решающим проколом стала рокировка. До этого фронду смиряла надежда, что режим сможет хоть как-то эволюционировать. Эту иллюзию особо цинично растоптали с остатками репутации местоблюстителя (из равновесия вывел серийный обвал близких по духу автократий, казавшихся железобетонными). Новую стратегию выбрали самую недальновидную: не возглавить неизбежное, а переломить тенденцию. Ужас перемен породил желание победы «как раньше» — любой ценой, но именно сокрушительной, с огромным запасом прочности по количеству, но не по качеству результатов. Более того, показное небрежение формой понималось как демонстрация силы, уверенности в какой-то иной легитимности, не иначе — харизматической (отсюда столько театра). Однако реальный мотив был от обратного: не допустить того, чтобы выборы громогласно подтвердили плохой тренд.

В политике победитель не может отвечать за все действия своих невменяемых сторонников, но тогда он обязан публично расследовать факты, отречься от виновных, наказывать их по статье и объявлять ам-

нистию всем, кто готов каяться сам и сообщать о деяниях других. Власть демонстративно не сделала ничего — и тем подорвала остатки легитимности, которую в классификации Макса Вебера можно было бы хоть как-то счесть формально-рациональной. В какой-то момент казалось, что протест, возбужденный поведением на выборах, постепенно схлопнется из-за отсутствия эффекта и перспективы. Однако возникла другая проблема: теперь лидеру надо доказывать еще и свою легитимность в узком кругу, в своей объективно правящей группировке. Для этого он должен являть хронический активизм, перехват инициативы, невероятную непрогибаемость и неистребимую волю к власти, если надо, то и разрушительную, в том числе в отношении своих. Отсюда *long list* экзотических актов как высочайшего происхождения, так и низовой инициативы, улавливающей новый дух и подражающей лидеру.

Но Россия уже не та страна, в которой разрыв между легальным и легитимным может быть вечным.

Отношения между властью и людьми, еще ценящими достоинство и независимость, зашли так далеко, что уперлись в вопрос о природе режима, о его существенных и даже трансцендентальных обоснованиях. На тот же вопрос наводит и суэта, с какой начальство теперь доказывает себе и миру, что оно не самозванно, а, наоборот, «право имеет». Оказались сломанными все «машины легитимации», ранее примирявшие с режимом не только подкормленную массовку, но и сытую фронду. В итоге в обоснованиях власти не осталось ни традиции, ни идеологии или харизмы, ни даже сомнительных прелестей «стационарного бандита» или «полицейского государства всеобщего блага»... А уж надежда на придание власти некоей сакральности через поддержку РПЦ и подавно выглядит довольно странно. Общество уже явно томится ожиданием инстанции, способной предъявить стране знание о том, что на самом деле с ней происходит и что же, наконец, делать.

### Полицейское государство присвоения всеобщего блага

Поползновения осчастливить страну новой версией полицейского государства — это для нас проблема: именно здесь глубинный конфликт между правом и произволом накладывается на остаточную популярность полицейской модели в инертной массе. Однако это понятие не всегда было одиозным. Изначально оно имело гораздо более широкий смысл, за-

трагивало едва ли не все сферы ответственности государства и для своего времени и места было вполне легитимным.

Идея полиции тогда была практически тождественна идее порядка, но особого рода — достигаемого всей мощью государства, в котором счастье подданных, их материальное и даже духовное благо — полностью определяются заботой и качеством власти. В компетенцию полицейского порядка помимо умиротворения и безопасности входили также вопросы хозяйственные и бытовые, отчасти «духовные»: уборки и освещения улиц, брака и воспитания, образования и науки, снабжения провиантом и здорового питания, правильного поведения, вплоть до одежды и... выражения лиц.

Регулятивная практика предполагает достойную науку. Впервые термин «полиция» употребил Мельхиор фон Оссе в 1450 году, но классическим считается «Трактат о полиции» Николая Де Ламара (1750). Параллельно с полицеистикой в Германии возникает камералистика, которая начинается с вопросов управления государственным владением, помимо финансов включая торговлю, разработку недр, лесоводство и проч., но также выходит в более широкую сферу компетенции. В едином деле благоустройства, как отмечают исследователи, *Gute Ordnung und Polizei* немцы часто заменяли простым *Gute Polizei*. Это важно для понимания, что такой тип государства и в постсоветской России сложился задолго до того, как здесь стали шуметь о полицейском режиме Путина, а власть начала без оглядки вводить сугубо полицейские меры подавления протеста. Если проанализировать нашу систему регулирования всякого рода деятельности, прежде всего предпринимательской, мы обнаружим здесь именно эту идеологию: общее благо и счастье подданных исходят от государства как высшей организующей инстанции. Как говаривал Фридрих Великий: «Народу, как больному ребенку, следует указывать, что ему есть и пить».

Прямая противоположность этому — идеология правового государства: *Rechtsstaat* против *Polizeistaat* (в философии — Кант против Вольфа). В развитых странах мы имеем не чистые модели, а разные градации сочетания либерального государства — с элементами полицейщины и полицейского государства — с элементами права. Но на полюсах эти градации настолько различны, что переходят в качество.

В полицейской модели есть решающий нюанс: власть здесь, хотя и отчасти вписана в закон, тем не менее уполномочена на допроцедурные решения

и действия, на легитимное принуждение и насилие «оперативного» характера. Так в чрезвычайной ситуации может поступать полицейский, но таким же правом обладает и представитель регулятора или контрольно-надзорного органа, который может закрыть любое предприятие (даже если для этого нужно судебное решение). Группой таких же чрезвычайно уполномоченных полицейских становится руководство страны. При этом, по официальной идеологии и по конституции, мы живем в другой системе отношений, а именно в *правовом государстве*, в котором все построено на неприкосновенности неотъемлемых прав человека, гражданина, частного лица. Однако если углубиться в систему подзаконных актов, в нормативную базу, в дебри ведомственного нормотворчества и произвольного правоприменения, в суть господствующих здесь отношений, то мы обнаружим дух и реалии полицейского государства если не в классическом виде, то в модернизации, очень близкой к прототипу. Для постсоветской России это тем более естественно, что она является прямой наследницей экстремальной версии полицейского государства, представленной нашим сталинизмом. Например, адаптация технического регулирования к рынку оказалась у нас весьма своеобразной: с таким же успехом можно было в 1930-е годы перевести НКВД на хозрасчет и превратить в бизнес, доходность которого зависела бы от числа посаженных и расстрелянных. Раньше система шла на запах крови — теперь идет на запах денег.

В этом плане население России условно можно разделить на две большие категории: люди, которым государство дает, и люди, которых это же государство обирает. Понятно, что и те и другие свой доход так или иначе «зарабатывают», но очень по-разному. Это деление не совпадает с границей между сырьевой рентой и производством, хотя и связано с такого рода различием. Скорее здесь срабатывает самоощущение: насколько доход человека зависит от его инициативы и креативных способностей, не слишком связанных с прямым распилом государственного бюджета. В этом смысле страна находится на развилке, условно говоря, XVIII века, когда объективное развитие общества и производства потребовало перехода от полицейского государства к правовому. Наше социальное пространство разделено этим рубежом времени: в одной и той же стране одни люди живут «до», другие «после» — с соответствующими политическими предпочтениями. Одним важнее «порядок» и минимальные гарантии — другим защита достоин-

ства и собственности, свобода и маневр, возможность если не определять политику государства, то хотя бы блокировать одиозные тенденции. Между — неопределенностью, которым хочется и прелестей «порядка», и поводов для самоуважения.

Совсем недавно произошел перелом. Раньше наше государство можно было с оговорками характеризовать как умеренно полицейское — и в плане регулирования быта и деятельности, и в плане политики. Точнее, в плане политики оно уже было неумеренно полицейским, но все же не экстремальным. Затем режим стал терять популярность, куда и как далеко пойдет этот тренд, было неясно. Судя по ураганному рецидиву хватательного рефлекса, во власти есть предощущение агонии, хотя непонятно, куда все это собираются прятать и как потом легализовывать. Важнее, что происходит в массе, по инерции все еще воспринимающей этот порядок как легитимный.

Здесь тоже постепенно складывается все более отчетливое понимание того, что этот тип власти, при всех его полицейских аксессуарах, никак нельзя назвать «хорошо упорядоченным» (*well-ordered*) ни внутри еле управляемой вертикали, ни в плане обеспечения повседневной жизни подданных. Зарабатывающие люди тем более понимают, что этот самодовлеющий полицейский аппарат не столько защищает, сколько сам является угрозой — мегамашинной по присвоению всеобщего блага во всех его видах и в неограниченных масштабах. Однако все это было и раньше. Сейчас же осыпается защищавший репутацию «тефлон»: люди перестают отделять высшее руководство от всей этой неприглядной действительности. Легкой истерики наверху оказалось достаточно, чтобы душающий произвол полицейской машины внизу в сознании людей начал связываться со стратегией верха.

Следующих выборов это «полицейское государство нового типа» не переживет, а другие машины по производству легитимности также не подлежат восстановлению. Но и надолго застыть в явном тупике не получится: есть ряд системных ограничителей, мешающих превращению России в *polizeistaat* типа Беларуси или КНДР.

### Государство как миротворец и новый Левиафан

**В** этом ряду вариантов легитимности функция государства как верховного миротворца занимает видное место. Образ «лихих 90-х» в путинской идео-

логии отрабатывает одновременно и тактическое, и стратегическое задание. Вроде ясно: был беспредел с огнестрелом — пришел человек и навел порядок. Но это и целая философия, хотя и не всегда осмысленная. У Гоббса государство возникает как инстанция, впервые укрощающая «войну всех против всех». У нас то же и даже более того: власть не просто напоминает, зачем она вообще нужна и почему в стране не обойтись без железной руки, осаживающей горячие головы. Возникает образ перворождения государства именно «национальным лидером» и именно в этот момент — в нулевые, с выходом из первобытной дикости усмирением либерального хаоса. Получается, тут не просто «приняли меры», а почти что на ровном месте создали государство, как Петр — столицу на болоте. Это скользкий в этическом отношении момент. Лояльность по отношению к Ельцину формально соблюдена. Но замалчивается, что «беспредел 90-х» уже при нем начал входить в берега. Просто спецпропаганда о работе над образом тогда вообще не думала.

Диффузная война в стиле «убийство драке не помеха» была, но ее сдерживало в тех же рамках и ельцинское государство. Но при Ельцине большие деньги вмешивались в большую политику — преемник с этим не покончил, а лишь оставил это право за собой, и только за собой обеспечивать «мир», но оригинальным способом: он загнал, как писали, «дериущихся бульдогов» под ковер и там одних придушил, других запугал. В итоге славной победы образовалась единовременная добыча и регулярная дань. Это позволило купить избранные силовые структуры, политический класс, творческую интеллигенцию, а в итоге и народ, впервые за долгое время вспомнивший вкус минимальных гарантий, «растущих потребностей» и подарков от власти на средства из народного же кармана.

Однако возможен и другой взгляд. Можно считать, что ресурс сырьевого экспорта до этого времени, а именно на момент захвата, вовсе не принадлежал никому. После распада СССР страна на какой-то момент сжалась не до границ РФ, а до условной точки небытия — и тут же начала форсированный бросок внутренней колонизации, о которой проникновенно писали такие мыслители, как Сергей Соловьев, Василий Ключевский и вот сейчас — Александр Эткинд. В этой логике люди, захватившие ресурсы сырьевых продаж, искренне считают, что они не отбирали чужое и общее, а просто подобрали то, что валялось, почти как болтавшуюся под ногами власть. Большие

деньги всегда хотели большой власти. Новый режим взялся доказать, что это неправильно: лучше, когда большая власть хочет больших денег. Но поскольку от электората здесь все еще что-то, и даже многое, зависит, это красочное полотно легко выворачивается наизнанку. Эта власть захватила страну, как Чечню: победитель платит дань побежденному. Так же и с оккупированной страной: если не платить побежденному народу дань, «победителя» быстро изгонят. Такое умиротворение бывает стабильным только на кладбище. В живом обществе оно рано или поздно вызывает протест, которому государство-Левиафан объявляет войну на поражение с неизбежным возвратом к нестабильности и росту конфликтов.

Если же анализировать переход экономики в политику, то миротворческая миссия такого государства предстает еще более спорной, если не провальной. В политике есть две стратегии: процедурно договариваться — или уничтожать врагов в соответствии с заветами Карла Шмитта (оппозицию «друг/враг» Шмитт завещал как основу политического), которому идейное окормление нацизма не помешало остаться одним из политических мыслителей века. Но тогда надо говорить не «скрепы», а «фаши», провозглашать принцип «там, где есть полиция, не остается политики» и идти до конца, помня, как много в этой философии значит слово «смерть».

Однако тут не получается идти не то что до конца, но даже за известные пределы. Хочется власть употребить по-настоящему, но именно тут тебя нетерпеливо поджидает кровожадная оппозиция, которой для полноты счастья не хватает сакральной жертвы. Риторика войны продолжилась и на президентских выборах. Главные слова на Манежной со слезами на глазах: «Мы победили!» Было не очень понятно, кто это «мы» и кто эти побежденные: конкурентов выбрали задолго до. Однако это был вздох человека, который только что избежал Ватерлоо и обеспечил себе что-то вроде Бородина (спасибо, что живой). Осталось превратить протест в род иноземного нашествия, у которого в мыслях только и есть, что раскачать лодку и поджечь страну. Развязав гражданскую войну (пока холодную), теперь ее пытаются представить как национально-освободительную. Но главное в этом милитаризме, пожалуй, другое: власть не только воюет на выживание в большой политике, но и разжигает множество мелких фронтов, ставливая группы и страты, подзуживая и поощряя наиболее конфликтных и агрессивных. Состояние войны пытаются сделать всеобщим, пропитать ею все поры

социального организма, все моменты его нормальной жизнедеятельности. Сейчас модно видеть в этом отвлекающий маневр: в пыли общей свалки не видны куда более серьезные дела. Однако эта конспирология не должна отвлекать от «рисков настроения»: сначала раскалываются умы — потом начинают раскалывать головы.

### Метафизика власти: на закате теневой идеологии

Выше мы протестировали формы легитимности в нашей истории; остался момент, важный для XX и начала XXI века — легитимация через идеологическое. Постсоветский период начинался с формально-рациональной (процедурной) легитимации, а также с легитимации идеологической и через харизму. С процедурой ясно: за Ельцина и новый порядок (как он на тот момент виделся) тогда проголосовали. То были, по сути, наши первые выборы от души: голосовали за харизматика, а не маразматика.

С идеологией сложнее. С одной стороны, сработал антикоммунизм — от антисталинизма и антибольшевизма до простой усталости от застоя и унылой геронтократии. Но была и усталость от всего идеократического, от засилья идеологии как таковой — идеологическая идиосинкразия. В хрониках века это был еще один перевертыш «изживания через гипотрофию»: перехлесты идеологизма, агрессивной социализации, этатизма и имперскости породили отдачу — неприязнь к «кормлению периферии» (страны и лагеря), к навязчивой «заботе» государства с его поборами и символическими подарками, ко всякого рода коллективности (социалистическая атомизация), а также к любым формам «идеологической работы». Однако все это довольно быстро исчерпало себя, хотя и с сильными остаточными эффектами: постсоветские будни начали возвращать тягу к коммунальному теплу, к сильному государству и к «железной руке», к имперской державности и геостратегии в высоком стиле «он уважать себя заставил». Лучшего выдумать не могли: уже начинало тянуть к тому, от чего все еще тошнило. Но менее всего здесь было ностальгии по идеологии (за исключением идейно озобоченных). У части старшего поколения такая тоска была скорее в «алгебраическом» виде: старики примирились бы с молодежью, будь у нее пусть другие, но убеждения, — их возмущала безыдейность как таковая.

Но в коллективном рацио доминировал миф о деидеологизации. Люди не видели идеологии там, где



привыкли ее видеть: в символике власти и в практиках прямого промывания мозгов. При этом с прежней, если не с большей силой продолжали (и продолжают) работать скрытые, латентные формы идеологии — своего рода идеологическое бессознательное: когда люди ничего идейного специально не артикулируют, однако в политической и социальной жизни ведут себя так, как если бы они были убежденными носителями тех или иных представлений, принципов и ценностей. Это как с учеными, полагающими, что «наука — сама себе философия», но при этом являющимися носителями бытовой метафизики, непромысливаемых мировоззренческих стереотипов своего времени и места — «очевидностей», только кажущихся универсальными и вечными. Все великие ученые были и философами — или не были великими.

Примерно то же случилось и с обществом. Оно оказалось беззащитным перед латентным, скрытым, теневым воздействием (что сейчас мы и расхлебываем), но одновременно оказались пусты высшие уровни идеологического, которые не могут пустовать при любой деидеологизации. Вовсе элиминировать идеологическое нельзя, можно лишь перевести его на следующий этаж сознания, на метауровень. Конституционный запрет на огосударствление идеологии также необходимо толковать — иначе вы получите под эгидой нераскрытой, непроясненной конституции новую государственную монополию на идеологическое, к тому же политически приватизированную. Что мы и имеем. Правовые, законодательные акты, при всей их идейной нагруженности, остаются прежде всего документами юридическими, требующими комментариев, в том числе раскрытия идеологии текста. Иначе вы всегда будете учреждать одно государство (возможно, хорошее), а жить в другом (какое получится). Наши реформаторы вели себя как естествоиспытатели-позитивисты: они полагали, что экономика — тоже сама себе идеология. В жизни иначе: живой идеологический процесс и открытый рынок идей — или вами будут манипулировать те, кто смог приватизировать машину производства и трансляции идеологического.

Путин стартовал в духе привычного прагматизма. На идеологию не замахивались отчасти из осторожности, отчасти в силу все того же неизжитого экономического детерминизма. В проектах грефовского Центра стратегических разработок (ЦСР) уже были отдельные попытки идеологических заходов, но скорее как необязательные довески. Стратегию писали в рамках обычного, «само собой разумеющегося»

мировоззрения. Далее прагматизм рассасывался по мере того, как стратегический проект начинал давать сбои на практике. Населению так или иначе надо было что-то говорить, причем достойное власти. Сверхактивный политический пиар проблеме не решал: необходимо было нечто логичное и ценностное — еще один нарратив. В отсутствие собственных достижений пришлось, как обычно, отталкиваться от очернения предыдущего периода. Так возникла идеологема «лихих 90-х» с героической мифологией спасения страны от развала, от победы бандитизма, от сплошного братоубийства.

Однако и этот ресурс со временем оказался исчерпан. К моменту сдачи трона на временное хранение уже требовалось нечто более конструктивное и эпохальное. Из «плана Путина» ничего не вышло, о мегапроекте инновационного маневра и «снятия с иглы» пришлось забыть из-за еще большей подсадки на сырьевой экспорт. С возвратом в Кремль стала подводить и прагматика в экономике и политике. Пришлось идти на действия, которые продвинутой частью населения воспринимаются как «некрасивые», а то и не вполне адекватные.

В этой ситуации обычной теневой идеологии недостаточно. Еще совсем недавно хватало того, что информационный фон и экспертная аналитика намазывали на подкорку населению то, что власть не могла артикулировать явно, не вступая в противоречие с конституцией, не ссорясь с местными интеллектуалами и не позорясь перед «мировым цивилизованным». Но сейчас формируется идеология оппозиции, которая в пафосе отрицания смазывает различия отдельных проектов. И эта идеология останется, даже если уличный протест поделится уже не на колонны, а на отдельные демонстрации. Возникла потребность во внятной контридеологии, которая хотя бы как-то вывела то, что в текущей политике выглядит мелочным и корыстным.

Эта статья начиналась с новейших попыток сакральной легитимации и дружбы с РПЦ. Круг замкнулся. Если идеология — это вера в упаковке знания (а это более не проходит), то начинает мерещиться возможность опереться на знание в упаковке веры, на «идеологию через проповедь». Вовсе не случайно верховный иерарх даже по языку так часто бывает похож на ангажированного политолога и пропагандиста партийной идеологии. Остается последний вопрос — о перспективах такого симбиоза, да и самого режима, при постепенном отпадении всех прочих протестированных властью форм ее легитимации

## Легитимация снизу — безысходность, терпение, гордыня

**П**ри «закручивании гаек» можно стабильность еще какое-то время наращивать, но потом неизбежен срыв. Однако «ядерный электорат» режима хотя и убывает, но все еще сохраняется — возможно, уже не благодаря усилиям власти, а в силу встречных, низовых инерций сознания массы. Здесь особенно много скрытых, латентных мотивов и рационально неразрешимых парадоксов.

Самое простое — признание режима теми людьми, для которых относительное повышение благосостояния, случившееся за последнее время благодаря некоторому перераспределению сырьевой ренты, является достаточным поводом для моральной легитимации власти. Можно с каким угодно скепсисом относиться к этому типу сознания, однако нельзя не видеть его мотивированности всем ходом советско-российской истории. Как правило, это люди, сформировавшиеся в логике минимальных гарантий, господствовавших в СССР. Бедность на грани нищеты компенсируется здесь «скупой надеждой на будущее», не требующей от человека заботы и инициативы. Можно считать это одной из форм «бегства от свободы», но при этом не стоит забывать, что в этом было и своеобразное, превращенное инобытие свободного существования, чем-то родственное морали клошаров, коорые ютились под мостами Сены и встречали помощь и понимание у хиппующих туристов из самых разных стран и континентов.

У нас этот вынужденный эскейп (escape — побег, спасение), выразившийся либо в опустившемся бедности, либо в опущенном или одухотворенном пьянстве, был распространенным стереотипом поведения — одной из форм жизненных стратегий. Но с крушением советской системы и началом рыночных преобразований по этой стратегии был нанесен удар. Люди, плохо приспособленные к ответственности и минимальной инициативе самообеспечения, оказались попросту заброшенными. Тогда у власти хватило ума хотя бы держать повальную безработицу в скрытой форме: люди сидели без денег, но были причастны к «коммунальному телу» и к «государству» (или к тому, что они по инерции считали государством, — например, заводу/управлению на частном предприятии). Система минимальных гарантий начала восстанавливаться еще при позднем Ельцине, но эту социальную «подушку безопасности» подложил народу именно Путин. И теперь президент сравни-

тельно легитимен для всех, кто в этом смысле почти вернулся «назад в СССР».

Но здесь в прогнозах на случай ухудшения социальной обстановки есть развилка. По одной версии, для социальных напряжений достаточно снижения привычных темпов роста благосостояния — тем более при искусственно перегретых ожиданиях. По другой же — кризис актуализирует логику «коней на переправе не меняют» и породит легитимацию мобилизационного типа. Такие попытки, несомненно, будут. Однако они столкнутся с рядом обстоятельств. Политический протест станет искать союза с протестом социальным, а полностью подавить протестное движение не получится: придется закрыть страну, а это лишь усугубит кризис, если не вызовет цепную реакцию распада.

Далее, эти прогнозы приходится просчитывать в логике неприемлемого ущерба — последствия провала мобилизационного сценария могут быть не менее трагичными, чем при развале СССР. Наконец, даже теоретически шансов на успех мобилизационного проекта гораздо меньше. Есть знаменитая «джей-кривая Бреннера»: в реформах стабильность сначала ослабевает, но затем устойчиво наращивается. Но есть и почти не пародийная обратная «ню-кривая Рубцова»: при закручивании гаек стабильность можно какое-то время наращивать, но потом неизбежен срыв — и график стабильности падает вниз почти отвесно, как в той греческой букве. Это, впрочем, относится отнюдь не только к социально-политическим системам.

Под легитимацией обычно понимают признание права данной власти на власть — право править. И это признание толкуется позитивно. Право принуждать выводится из тех или иных преимуществ, особых достоинств людей во власти — благоприобретенных собственными усилиями или дарованных происхождением, свыше и т.п.

Но бывают случаи, когда люди власть как таковую не любят и не признают, но терпят. Порой скрепя сердце и из последних сил, но при этом они не только не участвуют в активном протесте, но даже и выполняют требуемые ритуалы — например, голосуют.

Сказывается здесь и политическая безальтернативность, отсутствие для многих реального выбора — при всем понимании искусственного характера этой безальтернативности. Но и здесь срабатывает фактор социального терпения, которое, естественно, тоже не бесконечно. При снижении рейтингов до понятного предела и при усугублении социально-экономической обстановки такого рода безальтер-

нативность становится, напротив, мощным раздражающим фактором, способным при голосовании производить самые неожиданные эффекты, вплоть до «кто угодно, но только не...». Плюс естественная усталость от персонажа. В таких случаях оппозиции даже не надо раскручивать своих активно задействованных лидеров, к тому же растаскивающих протестный электорат. Достаточно появления сравнительно нейтральной, именно нераскрученной, но морально безупречной альтернативной фигуры (или ряда фигур — с учетом технических методов снятия с дистанции). За таких немолодых, но «политически свежих» лидеров часто голосуют едва ли не все подряд как за гарантов прекращения игры без правил и восстановления правил игры, равных для всего легального политического спектра. Когда возникает ощущение, что такая ситуация назрела, действующее начальство начинает стремительно терять легитимацию через безальтернативность и становится «хромой уткой» даже при еще не совсем упавших рейтингах.

Правда, всегда сохраняется иллюзия, что неизбежного кандидата от власти в последний момент можно «накачать», как Ельцина в 1996-м. Но тогда была реальная затяжная борьба: народ и в самом деле можно было напугать призраком коммунизма и угрозой реванша. Теперь власть блистает всеми своими достоинствами в выжженной политической пустыне, и пугать уже много раз пуганное население ей просто нечем.

В таких случаях, когда проигрыш для властвующей группировки равносителен гибели, бывают оптимальны переходные, «шарнирные» варианты, когда в логике почти универсального компромисса пропускают кандидата, более или менее приемлемого и для власти, и для оппозиции — вроде бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Правда, потом вполне возможна реинкарнация прежних порядков (как это в итоге оказалось при переходе от СССР к РФ), и тогда радикалы начинают клеймить соглашателей за предательство принципов, идей и самой революции, однако часто реальной альтернативой компромиссу бывает либо продолжающаяся, хотя и обреченная, реакция, либо массовая бойня, за которую перед людьми и историей приходится отвечать не меньше, чем за временный тактический сговор с уходящим режимом.

И наконец — любители остатков имперского величия, крутой риторики. Это тоже мотив спонтанной, «естественной» легитимации, хотя и усиленно культивируемой. Здесь тоже сложный баланс. С одной стороны, некоторым все еще нравится, когда власть

рассказывает им, как она круто общается с геостратегическими оппонентами «вставшей с колен» великой России. Но все больше людей готовы повторять вслед за недавно прославившимся фермером Мельниченко: «Россия производит впечатление великой страны. И больше ничего не производит».

К тому же никакая гордость за внешнюю политику в наше время не может компенсировать удушающего стыда за манеры и методы в политике внутренней.

### Это опасное слово «харизма»

Один из видов легитимации власти, по Макс Веберу, наряду с традицией и формально-рациональной процедурой — харизма. Процедуре у нас всегда следовали, мягко говоря, без фанатизма, а традиция имеет настолько «рванный» вид, что скорее убеждает в обратном: власти вообще свойственно то и дело рушиться и учреждаться заново на руинах. Отсюда — особые ставки на харизматику, тем более естественную в нашей культуре инстинктивной персонификации власти.

На орбиту, как мы уже отмечали, Путина вывела симпатия «от противного», Путин как не-Ельцин. Работала этимология слова: древнегреческое  $\mu$  означает «милость, дар». Стартовое признание Путину именно подарили, но не свыше, а свои — и ради дела. Фигурант не давал поводов для преклонения, безоговорочного доверия и признания неограниченных или хотя бы сверхординарных возможностей. Но была нормальная энергия и, как тогда казалось, расчетливый выбор Ельцина.

Путин во многом развил то, что сначала пропагандистски присвоил. Ему в этом не мешали, чтобы не портить игру: в дарении был элемент жертвы. Затем эта харизма набирает силу, но раздваивается. Путин-1 — благодетель для бюджетопоглощающего «большинства», даритель остатков сырьевой ренты; эта его харизма импортная, как и наши «современность» и «стабильность». Путин-2 — покровитель институциональных реформ начала «нулевых», надежда реформаторского актива и части либерального крыла, полагавшего, что авторитаризм сможет обуздать среднюю и низовую бюрократию и либерализовать экономику прежде всего для малого, среднего и не сверхкрупного бизнеса.

Это миф, будто бы реализация такого курса была обречена по системным причинам. Изнутри было видно, сколь много значили субъективные факторы: недостаток политической воли у одних и банальная

продажность других. Но в итоге все же хвост так отрулил собакой, что за несколько лет буквально сменил ей масть и саму породу.

Тогда же зазвучало слово «сценичен». Хотя ничего особенного в этом актерстве не было, но, видно, очень хотелось аплодировать. Поэтому не обращали внимания на то, что каким-то волшебным образом никого такого же сценичного даже из своих рядом и близко не появляется. Та же «харизма от противополого»: Ельцин создал для Путина фон — Путин фон во-круг себя просто выжиг.

Важный атрибут харизмы — святая вера в непогрешимость. Как известно, вождь не может ошибаться, даже в мелочах! Однако рейтинг вовсе не обязательно подрывается компроматом. Есть простая усталость от образа (надое!), есть объективное снижение темпов при искусственно перегретых ожиданиях — всего лишь «ухудшение улучшения». В начале 2011 года социология напугала, и началась форсированная накачка харизмы. Помогло не слишком, поскольку подлинная харизма, как настоящая любовь, — дар одно-разовый: разбил — не склеишь.

В таких ситуациях лишние старания опаснее недоработок. Бросается в глаза наигрыш, и под подозрения попадает и сама святость: это зачем же он так старается? Зона недовольства начинает перегреваться и закипать, все более воздействуя на нейтральных и даже лояльных. Нарастают эффекты антиобаяния, антихаризмы, лишней раз подтверждая, что и в политике от любви до активного неприятия — один шаг.

Однако остается еще «внутренняя харизма»: для себя и для своих. Для себя, чтобы самому держать тонус; для своих, чтобы держать в тонусе окружение, рано или поздно задумывающееся о том, насколько рационально сохранять безоговорочную лояльность в меняющихся условиях. Отсюда кажущаяся абсурдной упертость в самых провальных начинаниях, явно вредящая и делу партии, и самой личной харизме. Это называется «лучше не связываться». Но и такая стимуляция работает лишь до поры — потом только хуже.

Как бы там ни было, уже видно, что ставка на харизматическую доминацию больше не пройдет. Даже если раскручивать популярного Сергея Шойгу. Голо-сование обеспечить можно, но жизнь — это не только выборы. В стране все меньше людей, желающих гоняться за очередным «спасителем», и все больше — ценящих системное и безличностное, но устойчивое. Это важно для будущего, но будет зависеть от того, какие страты будут выбраны опорными: внушаемая масса или рефлектирующий актив.

Более двадцати лет наша политическая система поочередно тестирует едва ли не все известные из истории и теории формы легитимации, ни на одной долго не останавливается, но каждую рано или поздно дискредитирует. В итоге эта политическая постройка приобретает черты безупрочной конструкции: у нее почти не остается иных (тем более метафизических) обоснований, кроме промывания мозгов и голой силы. Теоретический предел такого состояния — режим оккупации.

Чем дальше, тем менее общество настроено прощать проколы в легальности (прежде всего злоупотребления на выборах), компенсируя их иной легитимностью, в обход опошленной формально-рациональной процедуры. Наметился один и тот же повторяющийся цикл: делается акцент на очередном более или менее экзотическом варианте легитимации, какое-то время схема срабатывает, но затем ломается и начинает ра-ботать против заказчика.

Так было с попыткой нащупать какое-то подобие сакральной легитимации, но в итоге Патриарха пришлось уводить с политической авансцены на задний план, если не за кулисы (все заметили?). Так было с мифом «постсоветского Левиафана» — с акцентом на идее государства как миротворца в войне всех против всех (те самые «лихие 90-е»). Теперь сама же власть и воспринимается как главный разжигатель розни и конфронтации, начиная с военизированной риторики и лексики политического милитаризма и заканчивая прямым стравливанием. Так было с «формулой Макиавелли»: после периода активной демонстрации обладания высшим знанием об истинных интересах государства и путях движения в истории сейчас буквально бьет по глазам вопиющий стратегический вакуум. Без «модернизации» и «смены вектора» наше будущее опустело, в нем не просматривается ничего, кроме возвращающегося прошлого, к тому же темного. Власть понимает происходящее хуже подданных, а грядущее видит в горизонте не далее чем на полгода.

Так было со всеми идеологическими экспериментами. «Суверенную демократию» в итоге отрыгнули вместе с изобретателем концепта. Перестает работать модель «стационарного бандита»: вместо разумного дисконтирования поборов власть системно наращивает их, а публичные услуги превращает в механизм насильственного изъятия средств у населения. В итоге отношение власти к месту и людям все более

напоминает режим набега, беспощадной «гастроли». Похоже, уже не важно, что будет завтра с этой зоной кормления и обитающей на ней тягловой силой. Постепенно исчерпываются и факторы негативного «признания» — легитимность терпения, страха перед изменениями к худшему, неясность альтернативы.

Во всех этих более или менее судорожных попытках разыграть, в крайнем случае, хотя бы имитировать тот или иной формат легитимации есть изначальная ущербность. Нормальная легитимность в целом одновалентна и не предполагает суммирования чего бы то ни было в качестве решающего метода.

Если власть — «от Бога», то ей не нужно, даже грешно и во вред разыгрывать какие-то иные спектакли. Если главенствуют идеология и (или) харизма, народ можно вести на любые баррикады и самоубийственные подвиги, но нет нужды подкупать в режиме «залить деньгами».

Если честно срабатывает формально-рациональная процедура, все остальное вторично, а если чего-либо не хватает, это компенсируют новой легитимацией через ту же электоральную процедуру.

У нас же срабатывает принцип «до кучи», а в итоге не остается хотя бы умозрительного варианта, какую бы еще легитимность приспособить в качестве опоры. Не остается времени от запуска проекта до его дискредитации. Теперь даже убогие попытки приписать лидеру окормление страны «новой моралью» (триада: Труд, Родина, Семья) тут же воспринимаются не как сборка ключевых ценностей, а, наоборот, как опасное расчесывание самых больных мест: именно труд и родина более всего девальвированы нашей моделью рентной экономики, а семья здесь — скорее объект шантажа нестабильностью и подкупа подачками.

Это чистый цугцванг, когда любой ход лишь ухудшает положение. Опросы и особенно фокус-группы показывают, что в борьбе с коррупцией люди увидели не столько борьбу, сколько саму коррупцию — ее масштабы и статус участвующих в ней, невзирая на лица, включая... Кампания по изничтожению НКО, конеч-

но же, ничуть не остановит людей принципиальных, но при этом в массовом масштабе политизирует ранее совершенно мирные и безобидные инициативы, помогающие больным людям или вымирающим птицам.

Власть не может не чувствовать кризис легитимности и нарастающую критичность ситуации. Отсюда спектакли легитимности, часто дающиеся в первую очередь для одного лица, для вливания в него энергии «поддержки». Отсюда же множество инициатив и проектов, подчеркивающих нормальность ситуации и создающих видимость устойчивости существующего порядка: саммиты, чемпионаты, единые стерильно-непротиворечивые учебники, циклопические музейные затеи (словно больше не на чем сосредоточиться и некуда больше тратить и без того дефицитные «ярды» рублей). Нечто вроде парада на Красной площади в осажденной Москве — но там и маршировали с другой мотивацией.

На этом фоне существует практическая, неvirtуальная внутренняя политика, которая выглядит агрессивно-наступательной, но, по сути, реализует паническую стратегию превентивной обороны, выстраиваемой к моменту, когда провалы легитимности обнажатся окончательно, а защищать власть не выйдет никто. Как это бывает с купленной верностью.

Все, что сейчас делается особо значимого, направлено на поляризацию друзей и врагов режима, на обособление этих зон, на устранение смягчающих контактов между ними (таких, например, как в НКО, не тягущихся с режимом, но своей гражданской активностью в чистом и притягательном виде реализующих повседневные практики либерализма). Это еще и устранение потенциального конкурента, моральная легитимность которого заведомо и на порядок выше, чем у слишком демонстративно не бедствующей власти.

Конструкция зависает. Она еще держится на входящих потоках, иногда даже кажется, что уверенно, но это именно то парение, в котором в итоге чаще падают, чем мягко планируют на запасные аэродромы.